

СОПЕРНИКИ

[Сократ]

Я вошел в училище грамматиста Дионисия ¹ и увидел там юношей, известных своим прекрасным обликом и славным происхождением; узрел я также и их поклонников. Случилось, что двое из мальчиков между собою спорили, но я не очень-то расслышал о чем. Впрочем, мне показалось, что они спорят то ли об Анаксагоре, то ли об Энопиде ². Видно было, что они чертят круги и изображают обеими руками углы склонения, причем проделывают все это очень серьезно ³. А я — мне довелось сидеть рядом с поклонником одного из этих мальчиков, — толкнув его слегка локтем, спросил, по какой причине они столь серьезны, и добавил: «Видно, великое это и прекрасное дело, раз они относятся к нему со столь необычным рвением».

Он же в ответ: «Да какое там великое и прекрасное! Просто болтают о небесных явлениях и несут философский вздор!»

Я же, подивившись такому ответу, спросил: «Юноша, философствовать кажется тебе чем-то постыдным? Почему твой ответ так резок?»

А другой молодой человек, сидевший рядом с ним и оказавшийся его соперником, услышав мой вопрос и его ответ, молвил: «Ни к чему тебе, Сократ, спрашивать его, не считает ли он философию чем-то постыдным! Или ты не знаешь, что он всю свою жизнь провел в обжорстве и беспробудном сне, а также совершенствуясь в борьбе? Так какого еще ответа ты можешь от него ожидать, кроме того, что философия — никчемное дело?»

Этот из двух поклонников посвятил себя мусическим искусствам, тот же, другой, которого он бранил, — гимнастике ⁴; и мне показалось за лучшее оставить в покое того, кому я задал свой вопрос (ибо он и сам не старался делать вид, будто искушен в словопрениях, но притяжал лишь на дела), и расспросить того, кто выставлял себя

более мудрым, дабы получить от него возможно бóльшую пользу. Итак, я сказал: «Задал-то я этот вопрос между прочим. Однако если ты считаешь, что ответишь мне лучше, чем он, то я задам тебе тот же вопрос, что ему: представляется тебе философствование чем-то прекрасным или же нет?»

133

Едва мы обменялись этими речами, как оба мальчика, внимавшие им, замолчали и, прекратив свой спор, стали нашими слушателями. Не знаю, что испытывали при этом их поклонники, сам же я был потрясен: меня всегда сражают своей красотой юноши. Но показалось мне, что и второй из поклонников не меньше меня был взволнован, однако он все-таки отвечал мне, и довольно заносчиво. «Если бы, мой Сократ, — молвил он, — я полагал, что философствовать постыдно, я не считал бы себя человеком, да и никого другого, кто был бы такого же мнения». При этом он указал на своего соперника и говорил очень громко, чтобы мог слышать его любимец.

— Значит, — сказал я, — философствование кажется тебе чем-то прекрасным?

— Несомненно, — отвечал он.

— Что ж, — спросил я, — кажется ли тебе возможным знать о какой-либо вещи, прекрасна она или безобразна, если не знать прежде всего, что она существует?

— Нет, это невозможно, — отвечал он.

е — Итак, — спросил я, — тебе известно, что философствование существует?

— Безусловно, — отвечал он.

— Так что же это такое? — спросил я.

— Да не что иное, как то, о чем говорит Солон, ведь у него где-то сказано:

Стареюсь в постоянном я многоучении ⁵, —

и мне точно так же представляется необходимым, чтобы тот, кто хочет стать философом, постоянно изучал нечто одно — и в молодости и в старости, — дабы познать в жизни как можно больше.

Сперва мне показалось, что в словах его что-то есть, ж, немного поразмыслив, я спросил, считает ли он философией многознание ⁶.

д А он говорит:

— Конечно.

— Ну а считаешь ли ты философию только прекрасным делом или же еще и благим? — спросил я.

— И очень даже благим, — отвечал он.

— А только ли в философии усматриваешь ты эту особенность, или другие предметы ею также, по-твоему, обладают? Например, любовь к телесным упражнениям кажется ли тебе не только прекрасным делом, но и благим? Или же нет?

А он ответил весьма насмешливо и двусмысленно:

— Для моего соперника пусть будет сказано, что я не считаю любовь к гимнастике ни тем, ни другим; с тобой же, Сократ, я согласен, что она и хороша и прекрасна. И я полагаю, что это верно.

Тогда я его спросил:

— Значит, и в области телесных упражнений ты считаешь многоделание любовью к гимнастике?

И он ответил:

— Конечно же, подобно тому как в области философствования я считаю любовью к мудрости многознание.

Я спросил:

— Ты полагаешь, любители телесных упражнений стремятся не к тому, что сделает их тело крепким?

— Нет, именно к этому, — отвечал он.

— Значит, великими трудами достигается здоровое состояние тела? — спросил я.

— Да каким же образом, — возразил он, — может любое тело хорошо себя чувствовать без больших трудов? 134

Тут мне показалось, что любитель гимнастики задет за живое и готов мне помочь своей опытностью в этом искусстве. Тогда я его спросил:

— Что же ты тут перед нами молчишь, драгоценнейший мой, когда вот он держит подобные речи? Кажется ли тебе, что люди поддерживают бодрость в своем теле путем больших трудов или умеренных?

— Я ведь, мой Сократ, — отвечал он, — полагал, будто, как говорит пословица, и свинье ясно, что умеренные труды приводят тело в здоровое состояние; как же могут они не помочь мужчине, страдающему бессонницей, худому, шея которого не знала захватов и который совсем истощен заботами? ь

При этих его словах мальчишки пришли в восторг и рассмеялись, а тот, другой, покраснел.

Тут я сказал:

— Значит, ты сразу признаешь, что не большие и не малые труды делают тела людей крепкими, но лишь умеренные? Или ты отстаиваешь свое мнение против нас обоих?

А он в ответ:

— С ним я бы весьма охотно сразился, и я отлично знаю, что вполне оказался бы в силах поддержать свое допущение, и даже более слабое, чем это (ведь он — человек ничтожный), но с тобой я не должен ввязываться в спор — это противоречило бы здравому смыслу — и потому соглашаюсь, что не большие, но умеренные упражнения дают людям хорошее самочувствие.

— Ну а питание? Должно оно быть умеренным или обильным? — спросил я.

Он согласился, что и питание должно быть умеренным.

Далее я побуждал его признать, что и все остальное, касающееся тела, наиболее полезно, если оно умеренно, а не велико и не малó. И он согласился с тем, что полезно умеренное.

— Ну а относительно души что ты скажешь? Содействует ее пользе всё умеренное или, наоборот, лишненное меры? ⁸

— Умеренное, — отвечал он.

— Но разве науки не находятся в числе того, что помогает душе?

Он это подтвердил.

— Но значит, и науки помогают в умеренном количестве, а не в большом?

Он со мной согласился.

— А кому было бы правильно задать вопрос, какое питание и какие труды считаются умеренными для тела?

Мы все трое сошлись на том, что вопрос этот надо задать врачу и учителю гимнастики.

— Ну а в деле посева семян кто должен определить умеренность?

Мы согласились, что земледелец.

— А относительно семян наук, которые мы хотели бы посеять в душе человека, кого надо спросить с полным правом, сколько и какие из них умеренны?

Однако тут мы все преисполнились замешательства. Я же в шутку спросил их:

— Хотите ли, пока мы в таком затруднении, зададим вопрос этим мальчишкам? Или же нам это неудобно, подобно тому как у Гомера женихи Пенелопы не считали возможным, чтобы кто-то другой, кроме них, натянул Одиссеев лук?

Но поскольку мне показалось, что они растерялись

перед необходимостью отвечать, я попытался пойти другим путем и спросил:

— Так какие же мы назовем по догадке науки, кои следует преимущественно изучать тому, кто занимается философией, раз уж ему не нужны ни все науки, ни даже многие?

Тогда тот из двоих, кто был более умудрен, ответил: b

— Самые прекрасные и подобающие из наук — те, благодаря которым может быть достигнута высшая слава в области философии; а эта высшая слава приходит к тому, кто считает нужным приобрести опыт во всех видах мастерства; если же он так не считает, он должен изучить возможно большее число благородных искусств из тех, какие подобает знать свободным людям и какие относятся к разумению, а не к ручному труду.

— Ты говоришь, — спросил я, — к примеру, о строительном мастерстве? Ведь в то время как плотника можно нанять за пять или шесть мин, опытного зодчего ты не купишь и за десять тысяч драхм ⁹: по всей Элладе ты найдешь их совсем немного. Значит, ты имеешь в виду нечто подобное? c

Он, выслушав меня, сказал, что именно это имеет в виду.

После того я спросил его, нет ли, таким образом, возможности, чтобы один человек изучал только два искусства, вместо того чтобы изучать множество великих наук.

— Нет, — отвечал он, — не считай, мой Сократ, что, когда я говорю о необходимости для философствующего знать каждое искусство, я имею в виду точные знания, такие, какие бывают у самого мастера: я полагаю, что свободному и образованному человеку подобает улавливать то, что говорит мастер, по возможности лучше, чем остальным присутствующим, а также и самому подавать совет так, чтобы казаться самым тонким и мудрым знатоком среди всех когда бы то ни было участвовавших на словах и на деле в создании различного рода произведений. d

Но я, все еще сомневаясь в точном смысле его слов, сказал:

— Я постигаю, какого мужа ты считаешь философом: мне кажется, согласно твоим словам, он походит на многоборцев ¹⁰ в состязаниях, если сравнить их с бегунами или борцами. Ведь многоборцы уступают последним в этих видах состязаний и занимают вторые места, e

136 в сравнении же с прочими атлетами бывают первыми — победителями. Быть может, ты утверждаешь, что и философия делает нечто подобное со своими приверженцами: они остаются позади тех, кто бывает первым по разумению в отдельных искусствах, но, занимая здесь лишь вторые места, превосходят зато всех прочих; таким образом, философствующий муж оказывается во всем не вполне совершенным. Думается мне, ты нам доказываешь нечто подобное.

— Мне кажется, мой Сократ, — сказал он, — ты прекрасно понял, что такое философ, сравнив его с многоборцем ¹¹. Это именно тот, кто не рабствует ни в одном деле и ни одно дело не доводит до совершенства (чтобы не оказаться из-за единой этой заботы лишенным, подобно простому ремесленнику, всех остальных знаний), но ко всему приобщается в меру.

После такого его ответа я, полагая, что достаточно уяснил себе его мысль, поинтересовался у него, считает он хорошими полезных людей или же не приносящих пользу.

— Конечно, полезных, мой Сократ, — отвечал он.

— Значит, если хорошие люди полезны, дурные, наоборот, бесполезны?

Он с этим согласился.

— Ну а философов ты считаешь полезными людьми или нет?

c Он признал их людьми полезными и, мало того, полезнейшими.

— Давай же выясним, если только ты говоришь правду, чем нам могут быть полезны эти не вполне совершенные люди? Ведь ясно же, что философ ниже любого владеющего мастерством.

С этим он согласился.

— Вот, например, — сказал я, — если случится занемочь тебе или кому-либо из друзей, чье здоровье тебя очень заботит, то, стремясь обрести это здоровье, кого пригласишь ты в свой дом — такого вот недоучку или же врача?

d — И того и другого, — отвечал он.

— Не говори мне о том и другом, — возразил я, — но скажи, кого бы из них ты прежде всего предпочел?

— Но, — молвил он, — никто ведь не стал бы спорить, что прежде всего следует обратиться к врачу.

— Ну а если бы ты, плавая на корабле, попал в бурю,

кому бы предпочел ты верить себя и свое имущество — кормчему или философу?

— Разумеется, кормчему.

— Значит, и в остальных подобных же случаях, если можно обратиться к мастеру, философ оказывается бесполезен?

— Это очевидно, — сказал он.

— Так не оказался ли у нас философ человеком, лишешним пользы? Ведь у нас всегда под рукой мастера, и притом мы признали, что полезны хорошие люди, негодные же бесполезны.

Он вынужден был согласиться.

— Что же теперь? Задать тебе вопрос или спрашивать будет грубо?..

— Спрашивай что угодно.

— Я стремлюсь лишь к тому, чтобы повторить признанные нами положения и подвести итог. Итак, мы признали, что философия прекрасна (мы ведь сами — философы) и что философы — хорошие люди, а хорошие люди полезны, дурные же — бесполезны¹². С другой стороны, мы согласились, что в присутствии мастеров философы бесполезны, а мастера ведь присутствуют всегда. Не так ли мы это решили?

— Именно так, — молвил он.

— Значит, по твоему слову выходит, мы признали (если философствование действительно знание искусств в твоём смысле слова), что философы — люди скверные и бесполезные и будут такими до тех пор, пока среди людей существуют искусства. Но на самом деле это обстоит не так, милый мой друг, и философствовать означает не старательно заниматься ремеслами, не суетиться и проводить свою жизнь в многоделании или в многоучении, но нечто совсем иное, ибо я считал бы все это позором и тех, кто серьезно относится к ремеслам, именовал бы людьми неотесанными. Однако яснее мы поймем, говорю ли я правду, если ты ответишь вот на какой вопрос: кто умеет правильно выезжать лошадей? Те, кто их делает лучшими, или другие люди?

— Те, кто их делает лучшими.

— Ну а собак разве не те умеют правильно дрессировать, кто их улучшает?

— Да, они.

— Значит, одно и то же искусство занимается улучшением и правильной дрессировкой?

— Мне так кажется, — отвечал он.

— Далее, то самое искусство, что улучшает породу и правильно дрессирует, может также отличать добрых [животных] от негодных, или для этого нужно другое умение?

— Нет, то же самое,— сказал он.

— Не угодно ли будет тебе признать это же и относительно людей, а именно что одно и то же искусство делает их совершенными, правильно их воспитывает и отличает хороших людей от дурных?

— Разумеется, так,— отвечал он.

— И, делая это с одним человеком, оно то же самое делает со многими, а если это относится ко многим, то и к одному?

— Да.

— И точно таким же образом дело обстоит с лошадьми и всеми прочими живыми существами?

— Я это подтверждаю.

— Ну а что это за знание, которое правильно укрощает разнузданных и преступных людей в государствах? Не судебное ли это искусство?

— Да.

— А справедливостью ты назовешь какое-то иное знание или также его?

— Нет, не иное, но это.

— Значит, именно то искусство, с помощью которого справедливо укрощаются люди, помогает также различать добрых людей и негодных?

— Да, именно оно.

— И кто имеет знание об одном человеке, может также получить его и о многих?

— Да.

— А кто ничего не знает о многих, тот не знает и одного?

— Я подтверждаю это.

— Допустим, если лошадь не умеет распознать хороших и негодных лошадей, она ведь и о самой себе не знает, какова она?

— Конечно.

— И если бык не различает негодных и добрых быков, то он и относительно самого себя ничего не знает, каков он?

— Да,— отвечал он.

— То же самое относится и к собаке?

Он согласился.

138 — Ну а если какой-то человек не различает хороших

и дурных людей, то разве это не относится и к нему самому, так что он не знает, хорош он или плох, поскольку он и сам человек?

Он признал это верным.

— А не знать самого себя — это признак разума или неразумия? ¹³

— Неразумия.

— Значит, знать самого себя — это признак разума?

— Конечно, — сказал он.

— Похоже, что надпись в Дельфах советует именно это — упражнять рассудительность и справедливость ¹⁴.

— Да, похоже.

— А правильно укрощать людей мы умеем с помощью того же самого искусства? ¹⁵

— Да.

— Но не так ли обстоит дело, что искусство, с помощью которого мы умеем укрощать людей, — это справедливость, а с помощью которого распознаем себя самих и других людей, — рассудительность?

— Похоже, что так.

— Значит, справедливость и рассудительность — это одно и то же?

— Очевидно.

— И конечно, государства благоденствуют лишь тогда, когда преступники несут справедливую кару.

— Ты говоришь правду, — молвил он.

— Называется же это искусством государственного правления.

Он с этим согласился.

— Ну а когда какой-либо муж один правильно ведет государственными делами, разве имя ему не «тиран» и «царь»? ¹⁶

— Да, конечно.

— Значит, он правит с помощью царского и тиранического искусства?

— Правильно.

— И искусства эти те же, о каких мы сказали раньше?

— По-видимому.

— А если какой-либо муж один правильно ведет домашним хозяйством, как мы его называем? Не хозяином ли и господином?

— Да, так.

— Не благодаря ли справедливости он хорошо ведет дом? Или благодаря какому-то иному искусству?

— Нет, благодаря справедливости.

— Как видно, все это одно и то же — царь, тиран, политик, домохозяин, господин, человек рассудительный и справедливый. И искусство это также одно — тираническое, господское, хозяйское, а также искусство справедливости и разума.

— По-видимому, да, — сказал он.

d — Как ты считаешь: если врач говорит что-либо относительно больных, позорно ведь философу не сумеет уследить за сказанным и не оказать никакого содействия тому, что врач говорит либо делает, и точно так же в случаях с другими мастерами своего дела; ну а когда речь идет о судье, царе либо каком-то другом из сейчас перечисленных нами лиц, разве не позорно философу не сумеет уследить за сказанным и в этом помочь?

— Да как же может быть не позорным, Сократ мой, не уметь оказать содействие в подобных делах?

o — Что ж, станем ли мы утверждать и тут, — спросил я, — что философ должен быть подобен многоборцу, не достигшему совершенства, и претендовать всегда лишь на второе место в этом искусстве, будучи бесполезным всегда, когда присутствует кто-либо из таких мастеров, или же ему надлежит быть первым в своем доме, не поручать управление им другому и не довольствоваться в этом деле вторыми местами, но правильно судить и укрощать своих домашних, если он хочет, чтобы его дом имел хорошее управление?

Он согласился с моим мнением.

— Далее, если друзья поручат ему быть третейским судьей или же город назначит ему разобрать и рассудить какое-то дело, постыдно ведь, мой друг, оказаться здесь 139 вторым или третьим и не занять ведущего места?

— Мне кажется, да.

— Итак, достойнейший мой, философия отнюдь не многознание и не суетное ремесленничество.

Когда я это сказал, умник замолчал, устыдившись сказанного им раньше, неуч же подтвердил, что все это верно. И все остальные присутствовавшие одобрили эти слова.